



А. Я. ЛЕВИНСОН

Гумилев. Романтические цветы

Заглавие «Романтические цветы» хорошо определяет тот *экслектизм* настроений и приемов, которым так явно отмечены первые опыты г. Гумилева.

Однако при внимательном чтении немногих страниц сборника становится очевидным, что поэтический мирок автора, с одной стороны, теснее ограничен, с другой — значительно обширнее области, им самим отмежеванной в приведенном заглавии: так, все почти реминисценции, которыми питается его мысль — наследие *французской* поэзии; трудно отыскать в его стихотворениях какие-либо черты, сближающие их с мистикой Новалиса или лирическими пейзажами Эйхендорфа¹. В то же время выясняется, что его впечатлительность не развивалась исключительно в узком кругу романтических традиций, с которыми его связывает, думается нам, внимательное изучение Виктора Гюго, — что его настоящая духовная родина, — это выросшее из романтизма парнасство и — в не меньшей степени — поэтическое движение наших дней, с его ретроспективным характером, которое и привело его к полуиссякшим источникам.

Такое происхождение г. Гумилева выражается преимущественно в двух чертах: в попытках воссоздания *античного* мира и в то же время тяготения к *экзотическому*.

Французская поэзия, всегда глубоко традиционная, даже в своем бунте, во всех причудах художественного индивидуализма, неизменно оставалась верна классическим воспоминаниям: от «Древностей Рима» Дю-Белла до элегий Шенье, от камей Теофила Готье до поэм Леконта де Лиля, от сонетов Эредиа до «Глиняных Медалей» Анри де Ренье². Из века в век, от десятилетия к десятилетию эти неувядаемые воспоминания являются источниками живой воды для лирических поэтов Франции.

Не менее провиденциальной для развития французской поэзии в эпоху романтизма и его завершения в парнасстве представ-

ляется органическая связь выдающихся носителей этих течений с сказочным миром Востока: «Orientales» Гюго и «Хиосская Резня» художника Делакура прокладывают путь; креол Леконт де Лиль черпает образы своих «*Roimes barbares*» из тропических воспоминаний своей африканской родины; в «Трофеях» Хозе-Мария Эредиа возрождаются подвиги его далеких предков, испанских конквистадоров, «завоевателей золота», искателей морского пути в Индию; неизгладимо запали в душу Бодлэра краски и запахи цейлонских лесов, куда ненадолго занесла его судьба и куда возвращали его грезы гашиша...³

Эти-то обе струи доминируют и в сборнике г-на Гумилева (я оставляю в стороне беспомощный и добросовестный демонизм молодого «модерниста») — им он обязан теми достижениями, которыми сравнительно богато его еще несозревшее творчество: у него мелькают образы гомеровских вождей (диалог «Ахилл и Одиссей»); Рим времен упадка горячо дышит в красивой лирической трилогии «Император Каракалла»; удачно отражено в средней части стихотворения преломление героической воли кесарей в призме эстетического мироощущения:

Кончен ряд железных сновидений,
Тихи гробы сумрачных отцов,
И ласкает быстрый Тибр ступени
Гордо розовеющих дворцов.
Жадность снов в тебе неутолима:
Ты бы мог раскинуть ратный стан,
Бросить пламя в храм Иерусалима,
Укротить бунтующих парфян.
Но к чему победы в час вечерний,
Если тени упадают ниц,
Если точно золото на черни
Видны ноги стройных танцовщиц.

Если оставить в стороне несущественный анахронизм, вкравшийся в 7-й стих этого отрывка, — как рельефно изображен намеченный контраст! Уже в первой части маленькой поэмы-посвящения («Горе мне! Я не трибун, не сенатор, я только бедный бродячий певец...») сказала та живописность и та гибкость ритма, которая, быть может, обещает со временем поставить молодого «французского поэта на русском языке» в ряды мастеров русского стиха...

Почти всем в области формы обязан он мастерам русского стихотворчества. Как отчетливо звучит, например, не говоря уже о громадном влиянии В. Брюсова, привычный четырехстопный хореический стих Аполлона Майкова в стихах «Каракаллы», любопытно разукрашиваясь изысканным колоризмом молодого

поэта и уживаясь с типично французским и романтическим en-jambement:

Это было в дни безумных
Извращений Каракаллы.
Бог веселых и бездумных
Изукрасил цепью шумных
Толп причудливые скалы,
В золотом, невинном горе
Солнце в море уходило,
И в пурпуровом уборе
Император вышел в море,
Чтобы встретить крокодила...

.....

Если иметь в виду влияние французской поэзии, «Каракалла» лишь по характеру замысла связан с такими явлениями, как, напр., «Античные поэмы» Леконта де-Лиля, зато другие пьесы сборника вызваны более определенными звуковыми воспоминаниями.

Возьмем хотя бы первую строфу выдержанного в духе романтического демонизма стихотворения:

Нас было пять... Мы были капитаны,
Водители *безумных кораблей*,
И мы переплывали океаны —
Позор для Бога, ужас для людей!⁴

Первая же из приведенных строк — отрывистая и мрачно-героичная — радует читателя прелестью возникшего воспоминания, и внезапно всплывает в памяти незабвенный стих Гюго:

O, combien de marins, combien de capitaines...⁵
(О, сколько моряков и сколько капитанов...)

Второй стих отрывка, отнюдь не заимствованный, — как не подражателен, строго говоря, и первый, — фатальным образом воскрешает в памяти исступленную красоту «Опьяненного корабля» Рэнбо (Rimband)⁶.

Не будем ставить подобных импульсов от чужого гения (а может быть, и совпадения с ним в аналогичной ритмической фигуре) в упрек нашему поэту: слишком характерно это явление для всей нашей современной поэзии. Как это ни странно, один лишь г. Бальмонт, взбিরавшийся на все колокольни и звонивший во все колокола, — сумел всякому заимствованию придать неоспоримо индивидуальный характер. У г. Брюсова дело нередко обстоит иначе.

Но возвратимся к г-ну Гумилеву. Если, как сказано, сделанные нами до сих пор замечания и приведенные примеры не долж-

ны влиять на благоприятную оценку его дарования, то тем более досадно указывать на такие совпадения. Мы читаем в «Романтических цветах»:

Мой старый друг, мой верный *Дьявол*⁷
Пропел мне песенку *одну*:
— Всю ночь моряк в пучине *плавал*,
А на заре пошел ко *дну* *.

У Сологуба (в «Четвертой книге стихов»):

Когда я в бурном море *плавал*⁷
И мой корабль пошел ко *дну*,
Я так воззвал: — Отец мой *Дьявол*,
Спаси, помилуй, — я тону!

Видно, «старый друг» молодого г. Гумилева, по давнишнему обыкновению *quarens quem devoret* ** — подсказал ему эту весьма для него невыгодную игру чужими рифмами.

Темам экзотическим не менее, чем античным, обязан г. Гумилев лучшими своими удачами. Минуя колоритную, но выдержанную в нудно нисходящих ритмах г. Блока, вещицу «Приближается к Каиру судно», далее малоуспешное покушение на завоевание царства Шехеразады («Следом за Синдбадом-Мореходом») — мы достигнем наконец края, весьма отдаленного в географическом отношении и мало обследованного, но милого фантазии нашего поэта — «Озера Чад».

И, спору нет, необычными красками блещут вызванные им сказочные образы этой маловероятной страны. Однако:

...Ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.
И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немислимых трав...
Ты плачешь? (?) Послушай: далеко на озере Чад
Изысканный бродит жираф...

И нас, подобно своей героине, поэт не в силах действительно увлечь ни своеобразием контраста, на котором эти строки построены, ни истинно находчивыми рифмами. Но вряд ли можно устоять перед правдивостью настроения нижеследующих стихов из того же цикла. Они вложены в уста африканской красавице, последовавшей в Европу за голубоглазым соблазнителем:

* Дальнейшие строки этого стихотворения — мы их не приводим — навеяны, по видимому, Верхарном — его «*Passer d'eau*» <«Пловец» — *ред.*> (*прим. авт.*).

** тот, который стремится поглотить, губитель (*лат.*) (*ред.*).

А теперь, как мертвая смоковница,
У которой листья облетели,
Я, ненужная любовница,
Точно вещь я брошена в Марселе.
Чтоб питаться жалкими отбросами,
Чтобы жить, — вечернею порою
Я пляшу пред пьяными матросами,
И они, смеясь, владеют мною.
Робкий ум мой обессилен бедами,
Взор мой с каждым часом угасает...
Умереть? Но там, в полях неведомых,
Там мой муж, он ждет и не прощает...

Если я сравнительно подробно останавливался на эклектичном характере поэзии г. Гумилева, то потому, что эклектичность и подражательность кажутся мне знаменательными, типичными для всей нашей литературной современности. А уделить эти страницы маленькой книжке дебютанта нас побудила надежда, что автор ее, так думается нам, *будет поэтом...*

